

*С любовью Дону Конгдону,
благодаря которому возникла эта книга,
и памяти Рэймонда Чандлера, Дэшила Хэммета,
Джеймса М. Кейна и Росса Макдональда,
а также памяти моих друзей и учителей
Ли Брэкетт и Эдмонда Гамильтона,
к сожалению ушедших, посвящается*

Тем, кто склонен к унынию, Венеция в штате Калифорния¹ раньше могла предложить все что душе угодно. Туман — чуть ли не каждый вечер, скрипучие стоны нефтяных вышек на берегу, плеск темной воды в каналах, свист песка, хлещущего в окна, когда поднимается ветер и заводит угрюмые песни над пустырями и в безлюдных аллеях.

В те дни разрушался и тихо умирал, обваливаясь в море, пирс, а неподалеку от него в воде можно было различить останки огромного динозавра — аттракциона «русские горки»², над которым перекачивал свои волны прилив.

В конце одного из каналов виднелись затопленные, покрытые ржавчиной фургоны старого цирка, и, если ночью пристально взглянуть в воду, заметно было, как снует в клетках всякая живность — рыбы и лангусты, принесенные приливом из океана. Казалось, будто здесь ржавеют все обреченные на гибель цирки мира.

И каждые полчаса к морю с грохотом проносился большой красный трамвай, по ночам его дуга высекала снопы искр из проводов; достигнув берега, трамвай со скрежетом поворачивал и мчался прочь, издавая стоны, словно мертвец, не находящий покоя в могиле. И сам трамвай, и одинокий, раскачи-

вающийся от тряски вожатый знали, что через год их здесь не будет, рельсы залиют бетоном, а паутину высоко натянутых проводов свернут и растащат.

И вот тогда-то, в один такой сумрачный год, когда туманы не хотели развеиваться, а жалобы ветра — стихать, я ехал поздним вечером в старом красном грохочущем, как гром, трамвае и, сам того не подозревая, повстречался в нем с напарником Смерти.

В тот вечер лил дождь, старый трамвай, лязгая и визжа, летел от одной безлюдной, засыпанной билетными конфетти остановки к другой, и в нем никого не было — только я, читая книгу, тряся на одном из задних сидений. Да, в этом старом, ревматическом деревянном вагоне были только я и вожатый, он сидел впереди, дергал латунные рычаги, отпускал тормоза и, когда требовалось, выпускал клубы пара.

А позади, в проходе, ехал еще кто-то, неизвестно когда вошедший в вагон.

В конце концов я обратил на него внимание, потому что, стоя позади меня, он качался и качался из стороны в сторону, будто не знал, куда сесть, — ведь когда на тебя ближе к ночи смотрят сорок пустых мест, трудно решить, какое из них выбрать. Но вот я услышал, как он садится, и понял, что уселся он прямо за мной, я чувял его присутствие, как чуешь запах прилива, который вот-вот зальет прибрежные поля. Отвратительный запах его одежды перекрывало зловоние, говорившее о том, что он выпил слишком много за слишком короткое время.

Я не оглядывался: я давно по опыту знал, что стоит поглядеть на кого-нибудь — и разговора не миновать.

Закрыв глаза, я твердо решил не оборачиваться. Но это не помогло.

— Ох, — простонал незнакомец.

Я почувствовал, как он наклонился ко мне на своем сиденье. Почувствовал, как горячее дыхание жжет мне шею. Упершись руками в колени, я подался вперед.

— Ох, — простонал он еще громче. Так мог молить о помощи кто-то падающий со скалы или пловец, застигнутый штормом далеко от берега.

— Ох!

Дождь уже лил вовсю, большой красный трамвай, грохоча, мчался в ночи через луга, поросшие мятликом, а дождь барабанил по окнам, и капли, стекая по стеклу, скрывали от глаз тянувшиеся вокруг поля. Мы проплыли через Калвер-Сити³, так и не увидев киностудию, и двинулись дальше — неуклюжий вагон гремел, пол под ногами скрипел, пустые сиденья дребезжали, визжал сигнальный свисток.

А на меня мерзко пахло перегаром, когда сидевший сзади невидимый человек выкрикнул:

— Смерть!

Сигнальный свисток заглушил его голос, и ему пришлось повторить:

— Смерть...

И опять взвизгнул свисток.

— Смерть, — раздался голос у меня за спиной. — Смерть — дело одинокое!

Мне почудилось — он сейчас заплачет. Я глядел вперед на пляшущие в лучах света струи дождя, летящего нам навстречу.

Трамвай замедлил ход. Сидевший сзади вскочил: он был взбешен, что его не слушают, казалось, он готов ткнуть меня в бок, если я хотя бы не обернусь. Он жаждал, чтобы его увидели. Ему не терпелось обрушить на меня то, что его донимало. Я чувствовал, как тянется ко мне его рука, а может быть, кулаки,

а то и когти, как рвется он отколошматить или исполосовать меня, кто его знает. Я крепко вцепился в спинку кресла перед собой.

— Смерть... — взревел его голос.

Трамвай, дребезжа, затормозил и остановился.

«Ну давай, — думал я, — договаривай!»

— ...дело одинокое, — страшным шепотом докончил он и отодвинулся.

Я услышал, как открылась задняя дверь. И тогда обернулся.

Вагон был пуст. Незнакомец исчез, унося с собой свои похоронные речи. Слышно было, как похрустывает гравий на дороге.

Невидимый впотьмах человек бормотал себе под нос, но двери с треском захлопнулись. Через окно до меня еще доносился его голос, что-то насчет могилы. Насчет чьей-то могилы. Насчет одиночества.

Трамвай дернулся и, лязгая, понесся дальше сквозь непогоду, мимо высокой травы на лугах.

Я поднял окно и высунулся, вглядываясь в дождливую темень позади.

Я не мог бы сказать, что там осталось — город, полный людей, или лишь один человек, полный отчаяния, — ничего не было ни видно, ни слышно.

Трамвай несся к океану.

Меня охватил страх, что мы в него свалимся.

Я с шумом опустил окно, меня била дрожь.

Всю дорогу я убеждал себя: «Да брось! Тебе же всего двадцать семь! И ты же не пьешь». Но...

Но все-таки я выпил.

В этом дальнем уголке, на краю континента, где некогда остановились фургоны переселенцев, я отыскал открытый допоздна салун, в котором не было никого, кроме бармена — поклонника ковбойских

фильмов о Хопалонге Кэссиди⁴, которым он и любовался в ночной телепередаче.

— Двойную порцию водки, пожалуйста.

Я удивился, услышав свой голос. Зачем мне водка? Набраться храбрости и позвонить моей девушке Пег? Она за две тысячи миль отсюда, в Мехико-Сити. А что я ей скажу? Что со мной все в порядке? Но ведь со мной и правда ничего не случилось!

Ровно ничего, просто проехался в трамвае под холодным дождем, а за моей спиной звучал злое щий голос, нагонял тоску и страх. Однако я боялся возвращаться в свою квартиру, пустую, как холодильник, брошенный переселенцами, бредущими на запад в поисках заработка.

Большей пустоты, чем у меня дома, пожалуй, нигде не было, разве что на моем банковском счете — на счете Великого Американского Писателя — в старом, похожем на римский храм здании банка, которое возвышалось на берегу у самой воды, и казалось, что его смоеет в море при следующем отливе. Каждое утро кассиры, сидя с веслами в лодках, ждали, пока управляющий топил свою тоску в ближайшем баре. Я нечасто с ними встречался. Притом что мне лишь изредка удавалось продать рассказ какому-нибудь жалкому детективному журнальчику, наличных, чтобы класть их в банк, у меня не водилось. Поэтому...

Я отхлебнул водки. И сморщился.

— Господи, — удивился бармен, — вы что, в первый раз водку пробуете?

— В первый.

— Вид у вас просто жуткий.

— Мне и впрямь жутко. Вы когда-нибудь чувствовали, будто должно случиться что-то страшное, а что — не знаете?

— Это когда мурашки по спине бегают?

Я глотнул еще водки, и меня передернуло.

— Нет, это не то. Я хочу сказать: чувствуете *смертельную* жуть, как она на вас надвигается?

Бармен устремил взгляд на что-то за моим плечом, словно увидел там призрак незнакомца, который ехал в трамвае.

— Так что, вы притащили эту жуть с собой?

— Нет.

— Значит, здесь вам бояться нечего.

— Но, понимаете, — сказал я, — он со мной разговаривал, этот Харон⁵.

— Харон?

— Я не видел его лица. О боже, мне совсем худо! Спокойной ночи.

— Не пейте больше!

Но я уже был за дверью и оглядывался по сторонам — не поджидает ли меня там что-то жуткое? Каким путем идти домой, чтобы не напоротся на тьму? Наконец решил и, зная, что решил неверно, торопливо пошел вдоль старого канала, туда, где под водой покачивались цирковые фургоны.

Как угодили в канал львиные клетки, не знал никто. Но если на то пошло, никто, кажется, уже не помнил и того, откуда взялись сами каналы в этом старом обветшавшем городе, где ветошь каждую ночь шелестела под дверями домов вперемешку с песком, водорослями и табаком из сигарет, усеивавшим берег еще с тысяча девятьсот десятого года⁶.

Как бы то ни было, каналы прорезали город, и в конце одного из них, в темно-зеленой, испещренной нефтяными пятнами воде, покоились старые цирковые фургоны и клетки; белая эмаль и позолота с них облезли, ржавчина разъедала толстые прутья решеток.

Давным-давно, в начале двадцатых, и фургоны, и клетки, словно веселая летняя гроза, проносились по городу, в клетках металась звери, львы разевали пасти, их горячее дыхание отдавало запахом мяса. Упряжки белых лошадей провозили это великолепие через Венецию, через луга и поля, задолго до того, как студия «Метро-Голдвин-Майер»⁷ присвоила львов для своей заставки и создала совсем иной, новый цирк, которому суждено вечно жить на лентах киноленты.

Теперь все, что осталось от прошлого праздничного карнавала, нашло себе пристанище здесь, в канале. В его глубокой воде одни клетки стояли прямо, другие валялись на боку, схоронившись под волнами прилива, который иногда по ночам совсем скрывал их от глаз, а на рассвете обнажал снова. Между прутьями решеток сновали рыбы. Днем здесь, на этих островах из дерева и стали, отплясывали мальчишки, по временам они ныряли внутрь клеток, трясли решетки и заливались хохотом.

Но сейчас, далеко за полночь, когда последний трамвай унесся вдоль пустынных песчаных берегов к месту своего назначения, темная вода тихо плескалась в каналах и чмокала в решетках, как чмокают беззубыми деснами древние старухи.

Пригнув голову, я бежал под ливнем, как вдруг прояснилось и дождь перестал. Луна, проглянув сквозь щель в темных тучах, следила за мной, будто огромный глаз. Я шел, ступая по зеркалам, а из них на меня смотрели та же луна и те же тучи. Я шел по небу, лежавшему у меня под ногами, и вдруг — вдруг это случилось...

Где-то поблизости, кварталах в двух от меня, в канал хлынула волна прилива; соленая морская вода гладким черным потоком потекла между берегами.

Видно, где-то недалеко прорвало песчаную перемычку и море устремилось в канал. Темная вода текла все дальше. Она достигла пешеходного мостика, как раз когда я достиг его середины.

Вода с шипением обтекала прутья львиных клеток.

Я подскочил к перилам моста и крепко за них ухватился.

Потому что прямо подо мной, в одной из клеток, показалось что-то слабо фосфоресцирующее.

Кто-то в клетке двигал рукой.

Видно, давно уснувший укротитель львов только что проснулся и не мог понять, где он.

Рука медленно тянулась вдоль прутьев — укротитель пробудился окончательно.

Вода в канале спала и снова поднялась.

А призрак прижался к решетке.

Склонившись над перилами, я не верил своим глазам.

Но вот светящееся пятно начало обретать форму. Призрак шевелил уже не только рукой, все его тело неуклюже и тяжело двигалось, словно огромная, очутившаяся за решеткой марионетка.

Я увидел и лицо — бледное, с пустыми глазами, в них отражалась луна, и только, — не лицо, а серебряная маска.

А где-то в глубине моего сознания длинный трамвай, сворачивая по ржавым рельсам, скрежетал тормозами, визжал на остановках, и при каждом повороте невидимый человек выкрикивал:

— Смерть... дело... одинокое!

Нет!

Прилив начался снова, и вода поднялась. Все это казалось странно знакомым, будто однажды ночью я уже наблюдал такую картину.

А призрак в клетке снова привстал.

Это был мертвец, он рвался наружу.

Кто-то издал страшный вопль.

И когда в домиках вдоль темного канала вспыхнул свет, я понял, что кричал я.

— Спокойно! Назад! Назад!

Машин подъезжало все больше, все больше прибывало полицейских, все больше окон загоралось в домах, все больше людей в халатах, не очнувшихся от сна, подходило ко мне, тоже не успевшему очнуться, но только не от сна. Будто толпа несчастных клоунов, брошенных на мосту, мы глядели в воду на затонувший цирк.

Меня трясло, я всматривался в затопленную клетку и думал: «Как же я не оглянулся? Как же не рассмотрел того незнакомца, ведь он наверняка все знал про этого беднягу там, в темной воде».

«Боже, — думал я, — уж не он ли, этот тип из трамвая, и затолкал несчастного в клетку?»

Доказательства? Никаких. Все, что я мог предъяснить, это три слова, прозвучавшие после полуночи в последнем трамвае, а свидетелями были лишь дождь, стучавший по проводам и повторявший эти слова, да холодная вода, которая, словно смерть, подступала к затонувшим в канале клеткам, заливала их и отступала, став еще более холодной, чем прежде.

Из старых домишек выходили все новые несуразные клоуны.

— Эй, народ! Все в порядке!

Снова пошел дождь, и прибывающие полицейские косились на меня, словно хотели спросить: «Что у тебя, своих дел мало? Не мог подождать до утра, позвонить, не называя себя?»

На самом краю берега над каналом, с отвращением глядя на воду, стоял один из полицейских в черных купальных трусах. Тело у него было белое — наверно, давно не видело солнца. Он стоял, наблюдая за тем, как волны заливают клетку, как всплывает покойник и манит к себе. За прутьями возникало лицо. Печальное лицо человека, ушедшего далеко и навсегда. Во мне росла щемящая тоска. Пришлось отойти: я почувствовал, как в горле начинает першить от горечи — того и гляди всхлипну.

И тут белое тело полицейского вспоролось водой. И скрылось.

Я испугался, не утонул ли и он тоже. По маслянистой поверхности канала барабанил дождь.

Но вдруг полицейский показался снова — уже в клетке, прижавшись лицом к прутьям, он хватал ртом воздух.

Я вздрогнул: мне почудилось, будто это мертвец всплыл, чтобы сделать последний судорожный живительный глоток.

А минуту спустя я увидел, как полицейский, изо всех сил работая ногами, уже выплывает из дальнего конца клетки и тащит за собой что-то длинное, призрачное, похожее на погребальную ленту из блеклых водорослей.

Кто-то подавил рыдание. Господи Иисусе, неужто я?

Тело выволокли на берег, пловец растирался полотенцем. Мигая, угасали огни патрульных машин. Трое полицейских, тихо переговариваясь, наклонились над покойником, освещая его фонариками.

— ...похоже, почти сутки.

— ...а следователь-то где?

— У него трубка снята. Том поехал за ним.

— Бумажник? Удостоверение?

— Пусто — видно, приезжий.

Начали выворачивать карманы утопленника.

— Нет, не приезжий, — сказал я и осекся.

Один из полицейских оглянулся и направил на меня фонарик. Он с интересом взгляделся мне в глаза и услышал звуки, которые рвались из моего горла.

— Знаете его?

— Нет.

— Тогда почему...

— Почему расстраиваюсь? Да потому! Он умер, ушел навсегда. О господи! Это же я его нашел!

Неожиданно мысли мои скакнули назад.

Давным-давно, в яркий летний день, я завернул за угол и вдруг увидел затормозившую машину и распростертого под ней человека. Водитель как раз выскочил и нагнулся над телом.

Я сделал шаг вперед и замер. Что-то розовело на дороге возле моего ботинка.

Я понял, что это, вспомнив лабораторные занятия в колледже. Маленький одинокий комочек человеческого мозга.

Какая-то женщина, явно незнакомая, проходя мимо, остановилась и долго смотрела на тело под колесами. Потом, повинуясь порыву, сделала то, чего и сама не ожидала. Медленно опустилась на колени возле погибшего. И стала гладить его по плечу, мягко, осторожно, словно утешая: «Ну, ну, не надо, не надо!»

— Его... убили? — услышал я свой голос.

Полицейский обернулся:

— С чего вы взяли?

— А как же... я хочу сказать... как бы иначе он попал в эту клетку под водой? Кто-то должен был его туда запихнуть.